А.С.Дёмин

ЗАМЕТКИ ПО ПЕРСОНОЛОГИИ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Составители летописи повествовали в основном о событиях («что ся здея в лета си» — 17, под 852 г.), но иногда летописец переходил к рассказам специально об отдельных лицах («наменю неколико мужь чюдныхъ» — 183, под 1074 г.). Прямая персонология летописца ограничивалась особыми похвальными словесами князьям и церковным деятелям. Но еще существовала косвенная летописная персонология, гораздо более богатая. Ведь представления летописца о тех или иных лицах отражались почти в каждом упоминании о них. Из ранних героев летописи наиболее интересны Андрей Первозванный, Кий, Олег Вещий, Игорь Рюрикович, Ольга, Святослав Игоревич, Владимир Святославич. Представления летописца об этих семи лицах, особенности его исторической персонологии обозреваются в данной статье.

Персонологии летописи касалось немало исследователей (наиболее обстоятельно — А.А.Шайкин). Задача данной статьи состоит в обобщении наших новых истолкований летописного текста, некоторые, правда, нередко спорны, имеют предварительный характер, что объясняется конспективным жанром предлагаемой работы — сразу охватить очень большой материал в кратких, цельных и ясных очерках, но без доведения до доскональности доказательств и без подробных библиографических примечаний. Когда ясна общая картина, тогда легче ее детально проверять в дальнейшем.

«Повесть временных лет» цитируется по изданию, которое полно и удобно указывает разночтения списков и состояние основного списка: Летопись по Лаврентиевскому списку. 3-е изд. / Изд. подгот. А.Ф.Бычков. СПб., 1897. Страницы обозначаются в скобках. Буквы «ѣ» и «і» заменяются на «е» и «и».

Апостол Андрей

Всё, рассказанное летописцем об апостоле Андрее, не было случайным, но характеризовало его облик. Ход рассказа, детали, беглые упоминания — всё имело смысл.

Андрей предстал у летописца значительной персоной, солидным церковным деятелем. Летописец, конечно, недаром отметил, что Андрей являлся братом авторитетного апостола Петра. Летописец показал основательность Андрея, который не кочевал, а обосновался в Синопе, в Синопе учил вере и в Синоп возвратился после долгой поездки в Рим. Поездка, как и положено важному церковному деятелю, была вызвана необходимостью отчитаться в Риме о том, кого Андрей научил и что увидел.

В Рим почтенный миссионер Андрей не пробирался в одиночку, случайными и опасными путями, но со своими учениками спокойно, с ночевками, проследовал по знаменитому пути из Грек в Варяги, плывя на судне вверх по Днепру. Место своей удобной ночёвки на берегу под холмами Андрей благословил, и не мимоходом, а с утра затеял настоящую церемонию благословения места, действуя как высокий церковный иерарх. Он обратился к окружившим его ученикам, охарактеризовал будущее тех холмов, на которые они смотрели по его указанию, затем взошел на эти холмы, поставил крест на месте предсказанного им города Киева, торжественно помолился Богу и, наконец, сошел с холма, завершив церемонию.

Значительность Андрея проявилась также в его осведомленности. Андрей у летописца, придя в Крым, в Херсонес, уже достаточно знал об устье Днепра и о пути из Грек в Варяги, а затем выступил в роли пророка, провидевшего большой город со множеством воздвигнутых сияющих церквей. Всё, увиденное им, Андрей с редкостным пониманием сути дела принимал к сведению. Например, удивившись странному поведению людей, Андрей сразу понял, что он наблюдает банный обычай словен, которые не просто моются, но еще и «хвощются» (7).

Еще одно проявление значительности Андрея: прекрасное владение искусством речи. Придя в Рим, Андрей смог увлекательно рассказать об обычае славян своим римским слушателям, тонко учитывая психологию западноевропейцев, любящих комфорт, и заставив их пребывать в бесконечном изумлении от парадоксов словенской жизни: в Риме бани каменные, а в Словенской земле — опасно деревянные; пожара следует опасаться, словены же, напротив, вовсю нагнетают огонь и жар; прилюдно раздеваться есть неприлично и недостойно, а словены охотно объявляются нагишом (об этом же обычае на Руси писали западные путешественники и в XVII в.); квас надо бы пить, а словены им обливаются с небывалой расточительностью, да еще каким ядовитым квасом «уснияномъ» — из белены (это разъяснение Т.А.Лисовой-Исаченко; такой квас обезболивает кожу); давать бить себя — позорно, да и неприятно, но словены так старательно секут сами себя, притом особенно жгучими гибкими молодыми прутьями, что еле живыми вылезают из бани; римлян на месте словен добила бы ледяная вода,

а словены, окатившись ею, оживают после побоев; добро еще, если бы столь рискованные деяния допускались раз в году, но словены творят это ежедневно.

Значительность Андрея подчёркивалась вот чем еще. Для летописца, составившего летопись через полвека после открытого раскола христианства на католичество и православие и отрицательно относившегося к латинскому Риму, апостол Андрей явился не высокомерным латинянином, а, напротив, как бы «своим» человеком, который вполне лояльно отнёсся к славянскому миру, а столь нелюбимых летописцу римлян выставил простофилями. Именно Андрей задал римлянам насмешливую загадку: «Что это такое, когда себя мучают и оскорбляют: оголяются, жарят, бьют себя, морозят?» Несообразительные римляне не смогли ответить, и Андрей в конце концов назвал им отгадку: «И то творять мовенье собе, а не мученье!» (8). Можно предположить, что летописец обозначил даже некоторую нелюбовь Андрея к Риму: апостол сначала «не въсхоте поити в Римъ» и предпочёл плыть на север, а когда пришлось явиться в Рим, то он недолго «бывъ в Риме, приде в Синопию». Правда, в дошедшем тексте летописи сказано, что апостол как раз «въсхоте» пойти в Рим, но тут, пожалуй, искажение, ибо всюду в летописи, кроме данного раза, употребляется только словосочетание с отрицанием — «не въсхоте», а при утверждении хотения используются иные глаголы.

Значительность Андрея не преуменьшили дальнейшие утверждения летописца о том, что вероучителем славянства нужно считать апостола Павла (так отмечено в летописном повествовании под 898 г.) и что апостолы телесно, физически, не бывали в Киеве (под 983 г.). Всё это правда. Судя по летописному изложению, апостол и не учил славян и даже никак не общался с ними, пройдя своим путем задолго до возникновения Киева и Новгорода как предвестник христианства на Руси.

Значительность Андрея ясна и по месту рассказа в общем летописном повествовании. В соответствии с историософией летописца, важные исторические явления, в том числе христианство, не сами зарождались внутри общества, а извне привносились на Русь пришлыми (или возвращавшимися) героями, и эти приходы были судьбоносными. Апостол Андрей был для Руси первым таким героем. Затем Рюрик, прибыв из-за моря, от варягов, основал русскую государственность (под 862 г.); киевская княгиня Ольга вернулась из Царьграда христианкой (под 955 г.); великий князь киевский Владимир Святославич, вернувшись из варяжского Заморья, стал единодержцем Руси (под 980 г.), потом, возвратившись из Крыма, крестил Русь (под 988 г.).

Кий

По не очень внятному и осторожному летописному изложению, к тому же, возможно, заглаженному последующими редакторами и испорченному позднейшими переписчиками, всё же можно предположить, что летописец не причислял Кия и его братьев определенно к полянам. По сообщению летописца, поляне жили на своих местах «и до сее братье» (8). Братья же затем каким-то образом «сели» среди полян на трёх «горах» (холмах) и построили городок во имя своего старшего брата, там все и пребывали. Поляне же, как можно далее понять, обитали и охотились около города и лишь позже появились в Киеве.

На чужеродность Кия, быть может, указывали также дальнейшие сообщения летописца о том, что Кий никогда не был перевозчиком на Днепре (то есть не относился к «местным»?); что после основания Киева Кий «княжаше в роде своем» (а не у полян?) и что Кий «възлюби место», далекое от полян, — на Дунае, воздвиг там городок и захотел в нём осесть, опять-таки «с родомъ своимъ» (9). Конечно, истолкование всех этих фраз не бесспорно.

Но самое любопытное возможное свидетельство чужеродности Кия и его братьев полянам содержится в летописи через несколько листов после рассказа о Кие. Жители Киева утверждали, что платят дань после смерти всех трёх братьев «родомъ ихъ — козаромъ» (20, под 862 г.), то есть родственникам братьев — хазарам. Правда, эта фраза считается искажённой, и нет никаких иных следов мнения летописца якобы о хазарском происхождении Кия и его братьев.

Однако дополнительные мотивы в летописном изложении не позволяют полностью отвергнуть предположение о том, что летописец представлял Кия вне среды полян. Во-первых, как следовало из историософской схемы летописца, все древнейшие правители Руси пришли извне, и Кий вряд ли был исключением. Во-вторых, летописец отметил, что Кий ходил в Царьград и принял великие почести от византийского цесаря, а подобное соответствовало выходцу из более энергичного, известного и влиятельного этноса, нежели поляне. В-третьих, хазары, возможно, не случайно предложили полянам платить дань, а поляне сразу согласились платить дань именно хазарам и делали это долго: ведь прецедент уже был — Кий.

В общем, вопрос о характеристике Кия в летописи пока остаётся открытым.

Олег

1. Летописец постарался всячески подтвердить законность вокняжения Олега. Во-первых, летописец подчеркнул достойное происхождение героя — «отъ рода» Рюрика (22, под 879 г.); сам же Олег в рассказе летописца определил себя ещё решительнее: «азъ есмь роду княжа» (22, под 882 г.). Во-вторых, летописец представил Олега юридически завещанным преемником Рюрика, который, умирая, «предасть княженье свое Олгови» (22, под 879 г.). В-третьих, как показал летописец, Византия признала Олега князем, неоднократно называя его так в договоре (под 907 и 912 гг.). Олега называли князем все, в том числе кудесники и волхвы. В-четвертых, летописец поставил Олега в ряд с известными законными правителями — с римским императором Константином Великим и византийским цезарем Михаилом III: «отъ Костянтина же до Михаила сего летъ 542, а отъ перваго лета Михаилова до перваго лета Олгова, рускаго князя, летъ 29» (17, под 852 г.). Наконец, сама длительность властвования Олега, отмеченная летописцем, возможно, выступала свидетельством законности его княжения: «бысть всехъ летъ княжения его 33» (38, под 912 г.).

Кроме того, летописец показал законность княжеской деятельности Олега почти на каждом её этапе. Этот герой у летописца не просто расширял свою власть, но постоянно опирался на правовые установления. Судя по летописным подробностям, которые могли бы и отсутствовать, будь изложение более сухим, вокняжение Олега в Новгороде сопровождалось возможной церемонией: Рюрик «въдавъ ему сынъ свой на руце» (22, под 879 г.). Последующее вокняжение Олега в Киеве сопровождалось более развёрнуто описанной церемонией: к подплывшей ладье были вызваны Аскольд и Дир; из ладьи выскочили воины, оттуда же торжественно вынесли Игоря, тогда ещё маленького; Олег объявил: «А се есть сынъ Рюриковъ», и публично разоблачил Аскольда и Дира: «Вы неста князя, ни рода княжа»; Аскольда и Дира убили, затем понесли и похоронили. Лишь после этих подробностей летописец сообщил, что «седе Олегъ княжа въ Киеве» (23, под 882 г.).

Последующие события в изложении летописца опять-таки направлялись приговорами героя, устно произнесёнными им при той или иной государственной церемонии. Олег объединил в одно государство Новгород и Киев, ознаменовав это событие цитируемым в летописи словесным провозглашением Киева столицей: «Се буди мати градомъ русьскимъ». Олег подчинил северян, потом радимичей, запретив давать дань хазарам, и эти законодательные запреты тоже привел летописец. Олег возвестил: «Азъ имъ противенъ, а вамъ нечему» (23, под 884 г.), «не дайте козаромъ, но мне дайте» (23, под 885 г.).

Оформление победы Олега над Византией летописец изобразил в виде длительной церемонии и был необычно детален, показывая законность каждого шага героя. Когда Олег с войском вплотную подошел к Царьграду и греки запросили мира, то Олег, несколько отступив от города, «нача миръ творити» и, как положено, послал в город своих послов к византийским цесарям-правителям: «Имите ми ся по дань». Греки ответили: «Чего хощеши, дамы ти». Олег перечислил условия. Греки согласились, но дополнительно оговорили свои условия. И вот Олег и цесари «миръ сотвориста» и поклялись друг перед другом соблюдать мир: греки целовали крест, а Олег и «мужи» его клялись «по рускому закону» — своим оружием, богами Перуном и Велесом (30–31, под 907 г.). Ещё одну церемонию упомянул летописец: Олег повесил свой щит во вратах Царьграда, «показуа победу» (31). Затем был подписан договор, и текст этого обширного договора летописец вставил в летопись (под 912 г.).

Законность власти была одной из важнейших историософских идей летописца, ей он следовал с самого начала своей летописи: Иафет с братьями правили по тому, как выпал им жребий; Кий дал имя Киеву на основании своего старшинства среди братьев; Рюрик пришёл править по совместной просьбе нескольких племен; Олег же у летописца получился своего рода законником, на деле воплотившим завет племён найти князя, который бы «володелъ нами и судилъ по праву» (18, под 862 г.), то есть управлял и судил по правилам. В частности, Олег явился тем первым законником, о ком летописец сказал, что тот «посади» (назначил наместниками) своих «мужей» по городам и не просто брал дань, но «устави дани» — установил, с кого какую дань регулярно брать (22–23, под 882-885 гг.).

II. Второе обличье Олега в летописи — воинское. Он показан как жестокий и удачливый военачальник. Олег собрал небывало огромное войско, притом многообразное: летописец недаром впервые ввёл и всё увеличивал перечисления племён, служивших в войске Олега, а также указал гомерическое число кораблей во флоте Олега — 2000 (под 907 г.; у Аскольда и Дира в 866 г. было всего лишь 200 кораблей). Летописец изобразил Олега исключительно хитроумным и настороженным воителем: он спрятал своих воинов в ладьях и устроил успешную засаду (под 882 г.); он поставил корабли на колёса и пустил их под парусами по полю на город, устрашив противника (под 907 г.); его же обмануть, например, смиренно поданным угощением — отравленными едой и вином, — противник не смог (кому суждено умереть от коня, тому не погибнуть от отравы). Олег у летописца свиреп и изобретателен в убийствах: например, около Царьграда он, по сообщению летописца, «много убийство сотвори», а пленников предал различным

казням: одних порубили, других замучили, иных расстреляли, прочих в море покидали (29, под 907 г.). Равнообразен Олег и в наложении дани: летописец специально перечислил, как с одних племён Олег требовал большую дань в гривнах, со вторых — «дань легъку», с третьих — чёрными куницами, с четвёртых — монетами «щелягами» (шиллингами?) (под 882–885 гг.). Обильны были и трофеи Олега — волото, паволоки, фрукты, вина и всякое узорочье (под 907 г.). Он даже паруса велел шить из захваченных паволок.

Во всех своих воинских делах, даже самых разрушительных, законник Олег не выходил за пределы правил и традиций — он делал, по определению летописца, только, «елико же ратнии творять», то есть только то, что обычно совершают воюющие стороны (29).

Удачливость военно-государственной деятельности Олега оттенена сообщениями летописца на международные темы: в то время, как Олег расширяет Русскую землю, мимо Киева, не мешая Олегу, мирно, с востока на запад проходят венгры, они через Карпаты устремляются на другие народы и тут уже покоряют дунайских славян, воюют с греками, моравами, чехами, захватывают всю Болгарию и т.д. (под 898 и 902 гг.).

III. Летописный облик Олега получился трагически противоречивым. С одной стороны, он язычник, который держал в своих руках языческую «Великую Скифию», сжигал около Царьграда христианские церкви, клялся языческими богами и от язычников же получил прозвище «Вещий» (под 907 г.), намекающее, возможно, на жреческие функции князя. Однако, с другой стороны, этот язычник у летописца выглядел терпимо относившимся к христианству: Олег не возражал, когда греки посчитали его за святого Дмитрия Солунского; принимал их христианские клятвы и не порицал своих послов, которых греки, как сказано в летописи, «учаще я к вере своей и показующе имъ истинную веру» — страсти Господни, венец, гвозди, хламиду багряную и мощи святых (37, под 912 г.). Больше того, Олег стал насмехаться и оскорбил («укори» — что по-древнерусски и означает «оскорбил») своего кудесника резким обвинением: «То ти неправо глаголють волъсви, но все лжа есть» (38, под 912 г.). Олег у летописца оказался как бы между вер: с волхвами поссорился, но христианства не принял, хотя ко времени его правления, как рассказал сам же летописец, прервав повествование об Олеге, западные славяне и их князья уже крестились и получили переводы церковных книг на славянский язык, а просветитель славян Кирилл пошёл учить болгарский народ (под 898 г.).

Явственно двоится облик Олега в завершении летописного повествования о нём — в легенде о смерти князя, который ещё за несколько лет до похода на греков 907 г. вопрошал: «Отъ чего ми есть смерть?» (37). Как язычник Олег, естественно, обращался к

волхвам и кудесникам, но, кажется, уже тогда он слушал их без должного внимания, а больше надеялся на свой собственный ум. Во всяком случае летописец выразился не совсем обычно: Олег «принмъ в уме» ответ кудесника, а не «в сердце». Ум в летописи — категория всегда неблагоприятная, заставляющая человека ошибаться: умом бывают горды, «превратны», расслаблены, простоваты, смятенны и т.д. К правильному же решению можно придти только через сердце — вместилище веры, «принимша въ сердци своемь», «положи на сердци своемъ» и пр. Оттого что безверный Олег лишь умом оценил предсказание кудесника, он не до конца его понял. Кудесник сказал Олегу: «Княже! Конь, его же любиши и ездиши на немъ, — отъ того ти умрети» (37–38). Этот «конь» — скорее, собирательное «конье»: кудесник, высказавшись в так называемом «вечном» настоящем времени, подразумевал любого коня, на котором предпочитает или в будущем предпочтет ездить князь. (В летописи немало аналогичных высказываний с «вечным» настоящим временем глаголов, обозначающим повторение действия в будущем, и с нарицательным существительным в единственном числе, обозначающим множество объектов данного рода. Летописец иногда сам пояснял смысл подобных наречений. Например: «Не вънимай зле жене, медъ бо каплеть отъ устъ ея, жены любодейци... Се же рече Соломанъ о прелюбдейцахъ» — 78–79, под 980 г.; то есть названа одна прелюбодейка, а имеется в виду всё их множество. Кстати, сразу после рассказа об Олеге летописец стал рассуждать о предсказаниях различных волхвов и привел одно из их заклинаний: «Бес комара граду!» Упоминался один комар, но подразумевались все комары: «И тако исчезнуша изъ града скорпиа и комарье» — 39.) Высказывание кудесника было тем более двусмысленным, что кудесник, как выясняется из дальнейшего повествования, предостерегал Олега не только от любимого живого коня, но и от мёртвого, даже от его скелета, даже от его черепа, не говоря уже о других конях. Невнимательный к словам кудесника Олег не почувствовал сердцем свою обречённость среди коней, а умом прямолинейно решил отказаться от лишь одного своего тогдашнего коня: «Николи же всяду на нь» (38). Затем Олег лет на десять забыл о предсказании, всё ездил на конях и к месту своей гибели подъехал на коне, летописец недаром подчеркнул это: Олег «повеле оседлати конь... и приде... и сседе с коня», тем самым приблизив роковую развязку.

Дальнейшее изложение легенды летописцем, пожалуй, добавляет свидетельства о раздвоенности облика Олега и как правителя. С одной стороны, задумавшись о своей судьбе, Олег продолжал вести себя как предусмотрительный законник. Он обратился к надлежащим ответственным лицам — волхвам — и задал надлежащий вопрос: не о том, **когда** он умрёт, а **от чего** ему ожидать смерти, то

есть каково ему будет орудие смерти и за какую будущую вину. Олег предпринял меры, которые он понял так: нельзя убивать коня; пока конь жив, то и князь жив. Поэтому Олег «поставилъ кормити и блюсти» коня, и это обстоятельство трижды отметил летописец. Как законник, Олег в конце концов вспомнил о сосланном коне, потребовал отчёта у конюха: «Кое есть конь мъй?» И даже возмутился, когда выяснилась ошибочность, казалось бы, вполне законного решения: «...все лжа есть. Конь умерлъ есть, а я живъ».

Но, с другой стороны, этот законник, оказывается, совершил роняющие достоинство князя поступки. Летописец не хотел прямо писать плохое о князе. Факты должны были говорить сами за себя. Мало того, что гадать в своей смерти — дело недоброе, но Олег нарушил своё княжеское слово. Он обязался никогда больше не видеть коня («ни вижю его боле того»), а потом всё-таки поехал посмотреть: «А то вижю кости его». Тот, кто не держит слова, погибнет от своего оружия — так провозглашали, например, договоры Руси с греками, включенные в летопись под 945 и 971 гг. Оттого и Олег погиб от своего коня (как части его вооружения; это наблюдение Е.А.Рыдзевской).

Кроме того, Олег был подвержен гордыне. Он дважды «посмеяся» над тем, что ему говорили, а перед останками коня стал в позу победителя, произнеся презрительную речь и словно поправ ногой поверженные «кости» противника («рече: "Отъ сего ли лба смьрть было взяти мне?" И въступи ногою на лобъ»). Гордыня никогда не доводит до добра, хитроумие и удача изменили Олегу, и он погиб не по-княжески, строго говоря, даже не от коня, а от змеи: из пустого конского черепа высунулась змея и «уклюну» Олега в ногу.

Нецельность облика Олега объясняется не только разноречием сведений, использованных летописцем, но и историософией летописца, в соответствии с которой до победы христианства на Руси, где «погании, не ведуще закона Божия, но творяще сами собе законъ» (13, летописное вступление), где «бяху бо людие погани и невеголоси» (31, под 907 г.), не могли появиться совершенно или преимущественно положительные русские князья.

Игорь

Летописный Игорь не выглядит как положительный правитель, несмотря на отдельные благоприятные упоминания о нём. Судя по циклу рассказов, Игорю были свойственны слабости, умалявшие его княжеское положение. Одну слабость Игоря, последовательно показанную (но прямо не названную) летописцем, можно определить как пассивность, недостаточную энергичность. Игорь не правил, в детстве его только носили, иногда выносили показывать, оставляя не у дел (под 882 и 907 гг.). Когда Игорь вырос, он всё

равно не княжил, а, как отметил летописец, ходил за данью после Олега и слушался его. Даже жену Игорю «приведоша ему» (28, под 903 г.), а не он сам «поял себе жену», как обычно делали активные летописные герои.

Игорь начал княжить лишь после смерти Олега, но выражения, употребленные летописцем в повествовании о княжеской деятельности Игоря, опять указывали на некоторую пассивность Игоря сравнительно с Олегом: Игорь всего лишь однажды «победивъ» непокорных деревлян (41, под 913 г.), в то время как Олег «примучивъ а», то есть покорил (23, под 883 г.), «бе обладая» ими (23, под 885 г.) и включил в своё войско (под 907 г.). Стремительные печенеги «сотворивше миръ со Игоремъ» (41, под 914 г.), в то время как Олег предпочитал сам напористо «миръ творити» с противником (30, под 907 г.), — в летописи наступательная сторона всегда «творила мир» с оборонявшейся или пассивной стороной, но не наоборот. Правда, потом Игорь воевал с печенегами, но это ничем не кончилось, результат не обозначен (под 920 г.), обычно же летописец называл результат: воевали и примучили, начали воевать и захватили землю, воевать начал и много убийств сотворил, воюя и грады разбивая и т.д.

Не очень героичной изобразил летописец войну Игоря с греками. Игорь гораздо сильнее, чем Олег, мучил пленников («гвозди железныи посреди главы въбивахуть имъ» и пр.) и разрушал церкви («много же святыхъ церквий огневи предаша, манастыре и села пожьгоша»), однако войско Игоря было окружено, а флот, бóльший, чем у Олега, был сожжён — пришлось «убрести» (43–44, под 941 г.). Потом Игорь собрал новое войско, но из 6 или 7 племён, а не из 13, как раньше Олег, и пошёл на греков, «хотя мьстити себе» (за себя). Эти слова летописца, возможно, обозначили некую мелочность желания Игоря, так как герои в летописи обычно мстили за других — за своих близких или вообще за Русскую землю, и только один Игорь думал о самом себе. Далее летописец сообщил, что Игорь, дойдя всего лишь до Дуная, а не до Царьграда, начал «думать», воевать или не воевать. Олег так никогда не поступал. И не Игорь твердо диктовал своё решение дружине, а опасавшиеся воевать дружинники — слабому князю («не бившеся, имати злато»); летописец осудил это: «Послуша ихъ Игорь». Даже не попытавшись сразиться, Игорь взял у греков дань, какую они первоначально предложили, и вернулся в Киев (45, под 944 г.). Затем летописец снова отметил слабохарактерность Игоря: не князь побудил дружину идти к деревлянам за данью, а корыстная дружина сама позвала князя, «и послуша ихъ Игорь» (53, под 945 г.).

Другая слабость Игоря, которую показал летописец, — это жадность. Главное для Игоря, важнее воинской чести и славы, — сбор

как можно большей дани, «именья». В первом походе на греков Игорь «именья немало» взял (43, под 941 г.). Во втором походе Игорь отказался от сражения с греками, когда византийский император обещал ему прибавку к прежней дани («возьми дань, южеималъ Олегъ, придамь и еще к той дани» — 45, под 944 г.). Игорь, по сообщению летописца, взял у греков золота и паволок на всех воинов, однако в следующем году дружина Игоря жаловалась: «А мы нази» (53), значит, князь не поделился с дружиной или недостаточно позаботился о ней. Затем, беря дань с подвластных деревлян, Игорь совсем потерял чувство меры. Сначала он «возложи на ня дань болши Олговы» (41, под 914 г.). Потом произвольно увеличил и эту дань («примышляше къ первой дани», «хотя примыслити большюю дань»). Взял её с разными насилиями, но захотел ещё раз собрать («похожю и еще»). Летописец объяснил такое поведение Игоря корыстолюбием: «желая больша именья», то есть имущества, богатства (53, под 945 г.). Подобная фраза звучала осудительно в адрес князя. Такие обвинения в летописи относились к особо провинившимся князьям (например: «желая болшее власти» — 177, под 1073 г.), а по отношению к положительным князьям эти обвинения отвергались («не желая болшее волости, ни именья хотя болша» — 197, под 1078 г.). Жадность довела Игоря, в сущности, до преступления: внезапное чрезмерное увеличение дани Игорем явилось бесчестным нарушением договора или официального княжеского слова, определявшего размер дани. Деревляне так это и восприняли: «Почто идеши опять? Поималъ еси всю дань». От жадности «не послуша ихъ Игорь» (54—55). Последовало наказание, развенчавшее Игоря как князя: Игорь был назван алчным ненасытным волком, убит и погребён не по-княжески — без похорон, в чужой земле, даже не в городе, а где-то у города (под 945 г.).

Летописец избегал давать открытые отрицательные оценки Игорю, как и прочим древним князьям, даже смягчал изложение (например, поражение Игорева войска от греков обозначалось так: «одва одолеша грьци» — 44, под 941 г.; это заметил А.А.Шахматов). Умолчал летописец и о подробностях позорной казни русского князя деревлянами (сказал только, что «убиша Игоря» — 54, под 945 г.). Но всё же роковые слабости Игоря ясно вырисовывались из летописного повествования. По историософии летописца, внутренние слабости князя обозначали слабость княжеской власти на Руси, когда деревляне могли безбоязненно хвастаться убийством русского князя («се князя убихомъ рускаго!» — 54, под 945 г.), «отроки» киевского воеводы были богаче дружины князя, княжеская дружина чувствовала себя зыбко («не по земли ходимъ, но по глубине морьстей» — 45, под 944 г.), в войско приходилось нанимать врагов-печенегов и для верности брать у них заложников, а также признавать равноправие язычников и христиан, и пр.

Ольга

I. В летописи Ольга охарактеризована как «смыслена» (смышлёна, сметлива, сообразительна, хитроумна — 59, под 955 г.) и «мудрейши всехъ человекъ» (106, под 987 г.). Слова «мудрый», «мудрость» в летописи обозначали не только церковную, «Божью» мудрость, но и «человеческую» практическую опытность, и в определенной мере были синонимичны слову «смысленый», поэтому и употреблялись вместе — «мудръ и смысленъ», «мудри и смыслени». Летописное повествование создало цельный облик «мудрой — смысленой» Ольги. Главной ее чертой летописец, по-видимому, считал не хитрость и коварство, а высокую культуру поведения, умение тонко использовать различные обряды и обычаи для соблюдения чести киевского князя как правителя. Эти черты Ольги обрисованы примерно в десяти летописных эпизодах.

Под 945 г. летописец изложил три эпизода, показав, как искусно Ольга вела себя с древлянами, прибегая к тем или иным обрядам и церемониям. Первый обряд — дипломатический. Когда 20 древлянских «лучших мужей» приплыли к Киеву, чтобы заставить овдовевшую Ольгу выйти замуж за древлянского князя, то Ольга повела себя как великий киевский князь, принимающий посольство строго по этикету и тем самым соблюдающий своё княжеское достоинство. Рассказ летописца стал необычно подробным, и каждая подробность указывала на важную часть проводимой княжеской церемонии. Ольга находилась не где-нибудь, а на «горе» в каменном тереме. Ольга была заранее подготовлена: ей «поведаша» о приходе древлян. Ольга «возва» к себе древлян, а не они сами появились перед ней самовольно. Не важно, что древляне были ей ненавистны; правилами дипломатического приёма предусматривалось приветствовать посольство, и Ольга произнесла необходимую формулу: «Добри гостье придоша» («Добро, гостье, придоша»). Не важно, что отвечали древляне; Ольга продолжала соблюдать этикет благожелательного приёма и произносить традиционно положенные фразы. Она задала положенный после приветствия вопрос древлянам: «Да глаголете, что ради придосте семо?» Затем с официальной милостивостью объявила: «Люба ми есть речь ваша» (54—55). Это не значило, что Ольге понравились речи древлян. Ольга их как бы и не слышала. Недаром летописец ни разу не употребил слова «слышать» по отношению к Ольге, в то время как в других летописных рассказах персонажи постоянно, «слышавъ» нечто важное или «то слышавъ», что-то отвечали или предпринимали. Летописец же показал невозмутимое следование Ольги правилам дипломатической вежливости: ведь древляне говорили нагло и фактически предъявили ультиматум княгине. Однако княгиня явилась недосягаемой для них.

Далее вдруг оказалось, что Ольга перешла к ведению мирных переговоров и произнесла известную формулу примирения: «Уже мне мужа своего не кресити». Но мир должен быть заключён торжественно (ср. летописные рассказы о заключении мира с греками), и поэтому Ольга обещала деревлянам соответствующую церемонию — «почтити», «честь велику». Летописец показал, что, заманив деревлян обещанием почёта, Ольга навязала им свои правила игры. При этом Ольга несколько унизила деревлян, намекнув на второстепенность ранга их посольства, — всего лишь «гости», а не полноценные послы.

Второй обряд, который Ольга использовала для утверждения своего превосходства, это обряд брачный. В повествовании летописца не проводилось границы между разными обрядами, один стремительно перетекал в другой, и функции Ольги менялись быстро и незаметно. Внезапно Ольга предстала в фольклорной роли то ли строгого царя, выдающего свою дочь замуж, то ли в роли злой невесты — оба персонажа во время сватовства испытывали женихов загадками. Ольга задала деревлянам нечто вроде загадки: придти к ней не на конях, не на возах и не пешком. Брачный обряд был только начат, но летописец отметил, что Ольга целиком захватила инициативу. Не деревляне ушли, но Ольга отослала их с приёма («а ныне идете..., азъ утро послю по вы»), чтобы они явились уже как сваты.

Третий обряд, возвысивший Ольгу, явился обрядом похорон. Летописец отобрал только такие детали, которые указывали на исключительно умное поведение княгини. Ольга, как свидетельствовало летописное изложение, не пошла на низкий обман деревлян (тогда бы она уронила своё княжеское достоинство), но, напротив, предупредила их о своих намерениях, правда, в скрытой форме, непонятной невежественным деревлянам и поэтому ставившей их в унизительное положение. Ольга в лицо деревлянам объявила об их похоронах, использовав двусмысленное сходство обычаев почитания и похорон (это наблюдение Д.С.Лихачева). Ольга сказала деревлянам: «Но хочю вы почтити наутрия предъ людьми своими» (55). Ольга имела в виду иной род почёта, нежели полагали деревляне: слово «почтить» (как и словосочетание «честь велика») переносно означало «похоронить с почётом». Утро было упомянуто Ольгой потому, что хоронили, действительно, с утра, а люди упомянуты, потому что хоронили прилюдно, и Ольга собиралась хоронить деревлян перед людьми своими. Далее Ольга в тех ее речах, которые приведены летописцем, недаром стала настойчиво отсылать деревлян в ладью, в которой они приплыли: «А ныне идете в лодью свою и лязите въ лодьи, величающеся... и възнесуть вы в лодьи», потому что так не только почитали, но и хоронили: в

ладье лежали мертвецы, «величаясь», и их «возносили» вместе с ладьёй. Ольга отослала деревлян на их похороны.

Судя по смыслу некоторых деталей летописного изложения, Ольга не произвольно, а на вполне законном основании назначила казнь деревлянам: «отпусти я в лодью», и деревляне, значит, невольно признали себя мертвецами. Ольга неспроста сразу назвала деревлянам отгадку на заданную ею загадку: таким образом, деревляне сами ничего не отгадали, а ведь не разгадавшие загадку сваты предавались смерти. Ольга недаром именно в такой последовательности побудила деревлян сказать, что на княжеский двор они не поедут ни на конях, ни на возах, ни пешком не пойдут, а чтобы киевляне несли их в ладье. Если бы имелась в виду церемония почитания, то деревляне должны были перечислить условия в ином порядке, по степени нарастания почёта: не пойдём пешком на княжеский двор, ни въедем на возах, ни даже на конях, но внесите нас в ладье. На самом же деле Ольга вложила в уста деревлянам требование о похоронах: раз они мертвы, то не в состоянии ехать, сидя на конях, тем более — сидя на возах, и уж тем паче — идти пешком, мёртвых надлежит нести в ладье. Деревляне сами вынесли себе приговор, который и исполнила Ольга.

Небрежное проведение похорон могло уронить достоинство их организатора, поэтому летописец подробно рассказал, как постаралась Ольга: она велела выкопать яму великую и глубокую на дворе у терема, утром послала киевлян за деревлянами, их понесли в ладье, принесли на княжеский двор и, неся, «вринуша» в яму с ладьёю; Ольга, как полагалось на похоронах, «приникъши» к могиле и даже вопросила, словно по обычаю задобряя мёртвых: «Добра ли вы честь?» Ответа деревлян — ведь они считались мёртвыми — Ольга по обыкновению не слушала и повелела засыпать их, и их «посыпаша».

Наконец, Ольга, как это следовало из рассказа летописца, не запятнала себя чрезмерной расправой с посольством деревлян, но мудро наказала деревлян соответственно их вине. Они убили Игоря — и их убили. Смерть Игоря была позорной — и смерть деревлян была позорной: Ольга, как отметил летописец, повелела засыпать их живыми. За убийство князя настигла деревлян даже более позорная смерть, чем Игоря, и они сами это признали: «Пуще (то есть хуже, позорней) ны Игоревы смерти» (55). Игоря похоронили не в городе, а «у града» — так и деревлян похоронили «вне града» (54).

Второй эпизод из отношений Ольги с деревлянами по своему смыслу аналогичен первому эпизоду. Ольга послала к деревлянам, вероятно, устное послание, в котором, следуя своей линии, упомянула, что деревляне, оказывается, не требуют, а «просят» («мя просите» — 55) её выйти замуж, но сама Ольга потребовала при-

слать к ней наиболее знатное брачное посольство, чтобы, по её словам, «в велице чти» пойти замуж, иначе за её честь вступятся люди киевские. Деревляне прислали «лучших мужей», которые управляли Деревлянской землёй, и Ольга, следуя традиции приёма послов или сватов, оказала им соответственно бо́льшую честь, чем первому посольству,— почтила их баней.

Но так же последовательно Ольга у летописца продолжала соблюдать похоронный обряд как способ благородного мщения. Ольга не дала прямого обещания выйти замуж. Пришедшим деревлянам она повелела «измыться», а ведь обмывали мертвецов. Как только деревляне влезали в деревянную баню и — главное — «начаша ся мыти» (56), то тем самым они признали себя мертвецами и дали повод Ольге совершить над ними погребальный языческий обряд сожжения (кстати, описанный во вступлении к летописи) — второй этап погребального обряда после насыпания холма и приготовления дров для костра; баня заменила ритуальную груду дров, на которые клали мёртвых.

В третьем эпизоде летописец показал совершенство поведения Ольги и вне Киева. Брачный обряд внешне выполнялся ею безукоризненно: не жених к ней, а она в качестве невесты направилась в землю деревлян, взяв с собой, как полагалось невесте, лишь мало дружины. Не справив тризны по первом муже, нельзя было выходить замуж снова, и поэтому Ольга поставила перед деревлянами условие о тризне и выполнила его: пришла к могиле Игоря, оплакала своего мужа, повелела своим людям насыпать большой погребальный холм над захоронением, как бы восстановив честь Игоря, поручила деревлянам приготовить «меды многи» и после всего этого повелела творить тризну.

При общении с деревлянами Ольга не опустилась до лжи. Когда деревляне спросили у Ольги о том, где же их «дружина», то есть посольства, ранее посланные за ней, то Ольга сказала правду, но дипломатически двусмысленно: «Идуть по мне съ дружиною мужа моего». Это высказывание в переносном смысле означало, что посольства деревлян, действительно, «идут» одним путём смерти с дружиной Игоря — ведь и те и другие были перебиты. Выражение «по мне» тоже имело двойной смысл: пространственный («вслед за мной») и временной («до меня»). То есть Ольга сообщила, что уже до её прихода к деревлянам обе дружины пошли и всё ещё идут общим путём. Правда, подобное истолкование ответа всё-таки предположительно.

Дело, естественно, не дошло до свадьбы, и Ольга, судя по смыслу упоминаемых деталей, перешла к цивилизованной мести: тризну по мужу превратила в тризну по деревлянам. Ольга отнеслась к деревлянам вроде бы как к почитаемой стороне жениха, но больше как к мертвецам: деревляне сели пить, и Ольга велела «служити

пред ними» своим слугам, потому что мертвецы на тризне не могут себя обслужить; затем Ольга велела «пити на ня», пить не столько в честь древлян, сколько в их память. А когда древляне «упишася», видимо, мертвецки, последовало заключающее тризну игрище: их иссекли.

II. Четвёртый эпизод из отношений Ольги с деревлянами излагается в летописи уже под 946 г. и развивает характеристику двух черт княгини, которые ранее были намечены лишь эпизодически. С одной стороны, летописец изобразил Ольгу как воинственного князя, занятого крупными делами. Ольга отомстила за оскорбление княжеской чести — за «обиду» («мьстила уже обиду мужа своего» — 57), а теперь пришла с большим войском и осадила главный город деревлян, чтобы не просто продолжить месть («уже не хощю мьщати»), но покорить деревлян полностью. Ольга, как приличествовало князю, использовала хитроумное приспособление (птиц) для победы, а затем занялась установлением даней и налогов по деревлянской земле, а потом и по другим местам.

Но, с другой стороны, Ольга, с точки зрения летописца, являлась женщиной, всего лишь исполнявшей обязанности князя вместо убитого мужа и не стремившейся подменить пока еще малолетнего сына. Это летописец отметил. Она мстила не за свою «обиду», а за «обиду мужа своего»; не одна отправилась в поход, но «съ сыномъ своимъ Святославомъ»; не одна осадила город деревлян, но опять-таки «съ сыномъ своимъ»; потребовала покорности деревлян не одной себе, а чтобы деревляне, по её словам, «покорилися мне и моему детяти»; по деревлянской земле прошла «съ сыномъ своимъ»; и вернулась в Киев «съ сыномъ своимъ Святославомъ» и далее «пребываше с нимъ въ любъви» (57—59).

Летописец постоянно показывал, как женское начало отражалось на военной деятельности Ольги. Говоря о сражениях, летописец не упоминал об участии Ольги, потому что войну считал не женским делом: битву начинал Святослав, хоть малолетний и слабенький, а князь. (Кстати, в предыдущем эпизоде иссечения деревлян в конце тризны летописец специально оговорил неучастие Ольги: «а сама отъиде кроме» — 56).

Зато Ольга, по описанию летописца, успешно занималась тонкими словесными переговорами, умела выражаться изощрённо-двусмысленно, что не было свойственно мужским персонажам летописи. Ольга не обманывала, когда заверяла деревлян, что не будет им мстить больше, и четырежды подчеркнула, какая дань ей нужна от деревлян: «...хощю дань имати помалу,... мало у васъ прошю... сего прошю у васъ мало,... да сего у васъ прошю мала» (57). Ольга использовала каламбур; по существу, она потребовала выдать ей деревлянского князя Мала (это наблюдение Д.С.Лихачева). Летописец раньше уже пояснил, что «бе бо имя ему Малъ, князю

дерьвьску» (54), а в речь Ольги вставил слово «сего», которое одновременно обозначало и «поэтому» («поэтому прошу»), и «этого» («этого Мала»). Ольга просила деревлян выдать её жениха, которым деревляне, в сущности, распоряжались как безгласным и лишенным собственной воли заложником (поэтому Ольга мстила деревлянам, а не Малу). Но на этот раз Ольга действительно задумала не месть, но нечто большее и оскорбительное: она потребовала дать ей деревлянского князя в качестве дани, то есть лишала деревлян символа независимости. Кроме того, Ольга двусмысленно пообещала деревлянам: получив дань, «пойду опять» (57). Древнерусское слово «опять» означало и «вспять, назад» («вернусь назад, в Киев»), и «снова, ещё раз» («нападу снова»). Ольга выполнила высказанное обещание и снова напала на деревлянский город.

Загадочная и до сих пор вызывающая разные толкования «малая» дань, которую Ольга внешне попросила у деревлян, — от двора по три голубя да по три воробья, — возможно, указывала на женские вкусы победительницы, её интерес к птицам, птичьему двору и пр. (недаром летописец далее, под 947 г., упомянул об Ольгиных «перевесищах» — местах для ловли птиц — по Днепру и по Десне).

Подготовка Ольгой военной операции также носила «женский» характер, была связана с платками, нитками и пр.: летописец детально расписал, как Ольга раздала своим воинам кому по голубю, а кому по воробью, и повелела к каждому голубю и воробью привязывать зажигательный трут, обёртывая маленькими платками и ниткой наматывая у каждой птицы (к чему наматывали трут, летописец-мужчина не пояснил). Всё было рассчитано прямо-таки с женской домовитой мелочностью: Ольга, очевидно, с умыслом отказалась от дани, которую ей пообещали деревляне, — от мёда и мехов (для этого обнищавших деревлян пришлось бы выпустить в лес и ждать, когда-то принесут); Ольга же заставила осажденных деревлян собирать птиц именно на их дворах, а своим воинам велела выпустить собранных птиц именно тогда, когда смерклось, потому что птицам уже надо было устраиваться на ночёвку, и полетели они с зажжёнными трутами в деревянный город, притом, как пояснил летописец, в свои гнёзда: голуби в голубятни, воробьи — под стрехи. От трутов одновременно загорелись голубятни, клети, сараи, сеновалы и вообще все дворы.

III. В повествовании под 946 и 947 гг. летописец, быть может, обозначил ещё одну одновременно и княжескую, и «женскую» черту Ольги — стремление всё «уставить» и «изрядить» до конца. Ольга полностью завершила погребальный обряд над деревлянами, ведь выпускание пойманных птиц (душ) на волю являлось заключительным элементом погребального обряда (это отметил

Н.И.Толстой). Затем Ольга навела хозяйственно-политический порядок «по всей земли» (59).

IV. Последний яркий эпизод из летописного жизнеописания Ольги был изложен под 955 г. Это эпизод о пребывании Ольги в Царьграде. Может показаться, что летописец высказался по поводу внешности Ольги, упомянув, что византийский император «видевъ ю добру сущю зело лицемъ и смыслену» (59). Однако в данном случае летописец имел в виду внутренние, интеллектуальные достоинства княгини, хотя и отразившиеся в её внешности. Словосочетание «добра лицемъ» по смыслу было близко к эпитету «добролична», обозначавшему не столько физическую, сколько духовную красоту Ольги, ведь эпитет «добрый» в летописи в применении к человеку означал персонажей с достойным поведением. Выражение же «видети ю добру лицемъ» тем более указывало на заметность внутренней содержательности княгини, ибо летописные выражения «видеть кого-то» обычно дополнялись указаниями не на внешность, а на поведение людей, а ещё чаще — на внутреннее состояние человека. Поэтому-то летописец далее пояснил, что удивился царь именно и только «разуму» Ольги.

Государственный «разум» Ольги, как снова дал понять летописец через множество деталей изложения, проявился в чётком соблюдении ею требований княжеской чести. Из летописного повествования следовало, что Ольга никого ни о чём не просила. Она не просила византийского императора об аудиенции, а просто, судя по сообщению летописца, прибыла в Царьград и пришла к «царю». Ольга не просила о крещении, но, «разумевши», вынудила императора крестить её (император предложил Ольге выйти за него замуж, а Ольга ответила: «Азъ пагана есмь», предоставив последующее предложение о крещении выдвигать тоже императору). Ольга не просила, а потребовала у императора крестить её, так сказать, по высшему разряду: «Да аще мя хощьеши крестити, то крести мя самъ; аще ли ни, то не крещюся».

Ольга не хотела замуж, а, как сказано в летописи, «хотящи домови» (60), однако не просила её отпустить, но опять именно вынудила сделать это, притом с оказанием ей почёта. Когда после крещения император позвал её к себе и уверенно объявил, что берёт её себе в жёны, Ольга жестко указала ему на нарушение христианского закона: «Како хочеши мя пояти, крестивъ мя самъ и нарекъ мя дщерею? А въ хрестеянехъ того несть закона. А ты самъ веси». Для соблюдения своей княжеской чести, чтобы не поддаваться давлению, Ольга ловко использовала на этот раз уже христианский обычай, и императору пришлось признать её умственное превосходство («переклюкала мя еси, Ольга»), дать ей многие дары, официально наречь её дочерью себе и отпустить, тем более что Ольга обещала императору («аще возъвращюся в Русь» — 61)

как равноправный союзник тоже прислать многие дары, в особенности «вои в помощь». Ольга тщательно следила за соблюдением престижа и, вернувшись в Киев, всё-таки припомнила императору один факт ущемления её чести: она заявила прибывшим византийским послам, что даст императору обещанные ею дары только в том случае, если император «постоит» у неё перед Киевом, ожидая допуска, так же, как она простояла перед Царьградом; со сказанным и отпустила послов.

V. Уже в Царьграде после крещения Ольга повела себя разительно иначе; можно подумать даже, что летописец изобразил двух разных персонажей — гордую Ольгу и покорную Ольгу. На самом же деле Ольга для летописца осталась такой же законопослушной княгиней, только раньше она истово придерживалась языческих обычаев, а теперь — христианских: Ольга перед патриархом стояла, склонив голову, и внимала ученью, «аки губа напаяема» (59), перед отъездом домой она пришла к патриарху, специально прося благословения.

И в Киеве Ольга, как показал летописец, жила уже только по христианским установлениям для женщин: побуждала своего сына принять крещение, часто говорила ему о радости, которую приносит христианская вера, считала главным всё-таки князя, несмотря ни на что любила сына своего, надеялась на Божью волю и молилась за сына и за всех людей «по вся нощи и дни», «кормила» сына до его возмужания и взрослости (62–63).

Далее летописец перешёл к рассказам о бурной деятельности Святослава, а Ольга, судя по отдельным упоминаниям, стала как бы частным лицом, только матерью князя, смиренной и пассивной. Так, Ольга, ничего не предпринимая, затворилась со своими внуками в Киеве от печенегов и сидела в тяжкой осаде, пока печенегов не прогнал Святослав (под 968 г.). Киевляне называли её старой, а она себя — больной.

Последний год жизни Ольги, как показал летописец, был трагичен из-за разногласий с сыном, который не захотел править в Киеве и вообще оставаться на Руси. Ольга, судя по приведенным её словам, отчаявшись, выговаривала Святославу: «Видиши мя болну сущю; камо хощеши отъ мене ити? ... Погребъ мя, иди, ямо же хочешн» (66). И через три дня Ольга умерла, завещав не творить тризны по себе. Её оплакивали и погребали сын, внуки и все люди, но похоронил её уже священник (под 969 г.).

Минорный конец сообщений об Ольге связан с представлением летописца об одиночестве княгини-христианки на Руси. Действительно, как рассказано в летописи, Ольга ещё в Царьграде тревожилась: «Людье мои пагани и сынъ мой, — дабы мя Богъ съблюлъ отъ всякого зла» (60). Ни Святослав, ни его дружина не слушали Ольгу, «творяше норовы поганьския» (62). Об общении Ольги с

христианами на Руси летопись не обмолвилась ни словом. В летописной похвале (под 969 г.) Ольга была сравнена с чем-то одиноким, с предрассветной звездой, с луной в ночи, с жемчужиной среди грязи («аки бисеръ в кале» — 67).

Однако историософская позиция летописца не менялась, говорил ли летописец об Ольге-язычнице, либо об Ольге-христианке: он исходил из предпосылки, что соблюдение князем принятых законов и обычаев служит чести князя и имеет государственное значение, честь князя — это честь страны. Пусть Ольга-христианка в одиночестве придерживалась христианской веры, но недаром, сообщал летописец, было наречено имя ей во крещении Елена, как у древней царицы, матери Константина Великого (который сделал христианство официальной религией Римской империи), и Ольга действительно думала о всей своей стране («аще Богъ хощеть помиловати рода моего и земле Руские» — 63, под 955 г.), и в результате добилась новой чести и для себя, и для своей земли: «Си первое вниде в царство небесное отъ Руси, сию бо хвалятъ рустие сынове... Се бо вси человеци прославляють, видяще лежащю в теле на многа лета» (67, под 969 г.) (это намёк летописца на когда-то существовавший мавзолей Ольги).

Святослав

Летописные рассказы о Святославе имеют обобщённый характер и редко когда содержат подробно изложенные эпизоды, ибо летописец (по предположению А.А.Шахматова) использовал в основном болгарский эпос о Святославе, народном герое Болгарии, освободившем болгар от ига Византии.

Однако летописец, пожалуй, коренным образом переосмыслил имевшиеся в его распоряжении сведения, попытавшись ответить на важный для него вопрос: почему так плохо кончил Святослав (печенеги убили Святослава, из его черепа сделали чашу и пили). Ведь Святослав так удачно побеждал разные народы: у хазар взял их главный город, а у болгар — даже 80 городов, с греков же брал дань (под 965—967 гг.). Святослав так удачно преодолевал трудности: прогнал печенегов в поле (под 968 г.), одолел восставших против него болгар, энергичной речью вдохновив своих воинов на смертельную битву, победил десятикратно превосходившее русских войско греков, произнеся ещё более прекрасную речь о воинской чести, наконец, пережил невиданно голодную для князя зимовку у Днепровских порогов, когда даже самая скудная мясом часть — «глава коняча» — стоила по полугривне (под 971 г.).

Однако с первого же рассказа о взрослом Святославе летописец пояснил, почему должен был погибнуть этот князь: он не слушал своей матери-христианки, её слов избегал «ни во уши примати»

(61, под 955 г.), даже гневался на мать. Желавших вслед за Ольгой креститься он оскорблял («ругахуся тому») и возражал матери, что, если он крестится, дружина этому начнёт «смеятися». «Аще кто матере не послушаеть — в беду впадаеть», — предупредил летописец и сделал ещё более зловещую ссылку на Библию: «Аще кто отца ли матере не послушаеть, то смерть приметь» (62, под 955 г.).

О других причинах гибели Святослава летописец сказал не так прямо, ибо писал не исторический трактат, а фактографическую хронику, однако последовательностью изложения фактов показал, что же ещё привело Святослава к роковому концу. Второй причиной, как можно понять, была нерусская ориентация Святослава, который сел княжить в Болгарии, в Переяславце (под 967 г.). Летописец привёл красноречивые факты странной отчуждённости князя от Руси. Киевляне обвинили Святослава: «Ты, княже, чюжея земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабивъ» (65, под 968 г.). И Святослав решительно подтвердил: «Не любо ми есть в Киеве быти. Хочю жити в Переяславци на Дунаи, яко то есть середа земли моей, яко ту вся благая сходятся: отъ грекъ — злато, паволоки, вина и овощеве розноличныя; изъ Чехъ же, изъ Угорь — сребро и комони, из Руси же — скора и воскъ, медъ и челядь» (66, под 970 г.). Показательно, что в приведенной речи Святослав определил Русь как чужую страну, дающую в Переяславец нечто вроде дани, даров или экзотических товаров. И далее сообщалось, что Святослав раздал Русь, включая Киев, своим сыновьям, притом сделал это равнодушно: когда новгородцы пришли просить себе князя, Святослав небрежно ответил: «А бы пошелъ кто к вамъ», а сам же ушёл в Переяславец (68, под 970 г.). Святослав даже вёл себя не как русский, а как степняк, и поэтому летописец специально описал это: «Легъко ходя, аки пардусъ, войны многи творяше. Ходя, возъ по собе не вожаше, ни котьла, ни мясъ варя, но, потонку изрезавъ конину ли, зверину ли, или говядину, на углехъ испекъ, ядяше; ни шатра имяше, но подъкладъ постлавъ и седло в головахъ» (63, под 964 г.). Лишь в последний момент Святослав пожалел, находясь в Переяславце: «А Руска земля далеча, а печенези с нами ратьни, а кто ни поможеть?» (70, под 971 г.). Но было уже поздно: без помощи из Руси он и погиб.

Третья причина гибели Святослава, показанная летописцем, это чрезмерная воинственность князя. Святослав был очень груб («одебелеша бо сердца ихъ» — 62, под 955 г.). Летописец недаром процитировал типичные слова Святослава, обращенные к другим странам: «Хочю на вы ити» (63, под 964 г.) — то была неприкрытая угроза: «Обязательно нападу на вас» («я вам покажу»). Когда Святослав после великой сечи с болгарами у Переяславца «взя градъ копьемъ», он послал грекам в Царьград: «Хочю на вы

ити и взяти градъ вашь, яко и сей» (68, под 971 г.), то есть: «Обязательно нападу на вас и возьму ваш город, как и тот взял». Если бы Святослав рыцарственно предупреждал о своих намерениях другие страны, он употреблял бы выражения в иной форме («иду на вы»), без древнерусского вспомогательного глагола «хотети», образовывавшего форму обязательного будущего времени. С греческим посольством Святослав также вёл себя очень грубо, вопреки дипломатическому этикету: когда послы прибыли, то Святослав отрывисто распорядился: «Въведете я семо»; когда послы вошли, поклонились ему и положили перед ним дары, то Святослав, глядя в сторону, так же отрывисто приказал: «Схороните» (69, под 971 г.). Это напоминает команды: «Ввести!», «убрать!»

Греки считали, что Святослав «лютъ». И не только потому, что Святослав из принесенных ему даров принял меч и иное оружие, но не посмотрел на золото и паволоки. Святослав так разбил византийские города, что они, по отзыву летописца, стоят и до сегодняшнего дня пусты. «Лютый» Святослав собрал с греков огромную дань, взимал даже за убитых, а ещё и дары многие, а ещё увёл пленных без числа. Заключая вынужденный мир с Византией («николи же помышлю на страну вашю, ни сбираю вой» — 71), Святослав как раз мыслил об обратном: «Да изнова из Руси, совкупивше вои множайша, поидемъ Царюгороду» — 70, под 971 г.). Святослав и себя не жалел и думал об обстоятельствах, «аще моя глава ляжетъ» (69), «изъбьють дружину мою и мене» (70).

Из-за своей воинственной «лютости» Святослав лишил себя поддержки. У него осталось «мало дружины». Из Переяславца пришлось ему уйти. Болгары, как подчеркнул летописец, были врагами Святослава, затворялись от него, выходили на сечу против Святослава и, предупредив печенегов о маршруте Святослава и о малочисленности его дружины, способствовали убийству Святослава. В решающий момент Святослав не послушался совета опытного отцовского воеводы миновать Днепровские пороги «около» на конях, а не плыть через них в ладьях и упрямо устремился «в пороги», обрекая себя на гибель (72).

Тут летописец приоткрыл, правда, осторожно, ещё одну причину гибели Святослава — жадность к богатству, ведь именно для того, чтобы сохранить и провезти набранные богатства, Святослав не захотел пересаживаться на коней из ладей. Греческие послы, поверив инсценировке нелюбезного приёма, ошиблись, когда посчитали, что Святослав «именья не брежеть, а оружье емлеть» (70). На самом же деле Святослав, сумевший обмануть греков, очень ценил «именье много», что немедленно доказал размахом поборов с Византии, приниманием всё новых и новых даров. Той же любовью к стекающимся благам сам Святослав объяснил своё пристрастие к Переяславцу.

По историософии летописца, князья-язычники не могли иметь благополучной судьбы и сами себя вели к гибели — Олег, Игорь, Святослав: «Дела нечестивыхъ далече отъ разума» (62, под 955 г.).

Владимир

Летописец, насколько мог, отметил христианское поведение Владимира, его благочестивые чувства и поступки незадолго до крещения: Владимир «плюну на землю» и осудил мусульманские обычаи (84); Владимир, «вздохнувъ» о посмертном веселье праведников и горе грешников, «положи на сердци своемъ» мысль о крещении (104, под 986 г.); «возревъ на небо», пообещал креститься (107), а после крещения, снова «възревъ на небо», просил помощи у Бога против дьявола (115, под 988 г.). Летописец подчеркнул благочестивость деятельности Владимира после крещения: он повелел низвергнуть языческих идолов и провести церемонию поругания их; Владимир построил много церквей — в Корсуни (под 988 г.), в Киеве, в том числе богато украшенную им Десятинную церковь, в которой молился и написал клятву давать этой церкви десятую часть от своих богатств и городских (под 989 и 996 гг.); князь построил церкви в других городах, заложил, поставил и населил новые города на многих реках, окружая христианский Киев защитой от печенегов (под 988, 991, 992 гг.); Владимир «любя словеса книжная» (122), то есть следовал Писанию, и потому не только разрешил, но даже повелел всякому нищему и убогому приходить на княжий двор и брать всё, что потребуется в питье и еде, а из казны получать деньги, а для немощных и больных повелел развозить и раздавать по городу хлеб, мясо, рыбу, фрукты, мед, квас; наконец, Владимир устраивал большие церковные празднества, во время которых раздавал людям, в том числе и убогим, многие богатства и огромные деньги (под 996 г.). Оттого, когда Владимир умер, убогие оплакивали его как заступника и кормителя, и похоронен был этот щедрейший христианин в мраморном гробе (под 1015 г.).

Однако летописец отметил, что Владимира на Руси не почитают так, как он того заслужил: «Мы же, хрестьяне суще, не въздаемъ почестья противу оного възданью» (128, под 1015 г.). Летописец, вероятно, пенял на то, что празднование памяти Владимира еще не было установлено (мысль А.И.Соболевского), и изложил факты в пользу блаженного. Но ещё подробней летописец, в сущности, показал, что же помешало сразу признать Владимира святым, хотя каждый раз летописец пытался оправдать Владимира.

Во-первых, Владимир, по изображению летописца, явился активным и лукавым язычником: он собрал и поставил на холме около своего двора «кумиры» главных языческих богов — Перуна,

Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симарьгла и Мокоши,— «творяше требу кумиромъ с людми своими» (80, под 983 г.), «и осквернися кровьми земля Руска и холм-отъ» (77, под 980 г.). Но, поспешил примирительно добавить летописец, на том холме ныне стоит церковь святого Василия (построенная Владимиром).

Летописец вынужден был признать, что язычник Владимир «прелюбодей бысть убо» (77), «побеженъ похотью женьскою», «бе несытъ блуда» (78). Владимир насильно захватил в жёны полоцкую княжну, потом «залеже не по браку» жену своего брата, вынудил греческую царевну стать его женой, но ему мало было и пяти жён, он ещё имел 800 наложниц, а кроме того, приводил к себе замужних женщин и растлял девиц (под 980 г.). Однако и тут летописец осторожно оправдывал Владимира: «се же бе невеголосъ, а на конець обрете спасенье» (78), «аще бо и бе преже на скверньную похотъ желая, но после же прилежа к покаянью» (128, под 1015 г.), а всё зло — в женской прелести (под 980 г.).

Христианскую веру Владимир принял, исходя из своих языческих вкусов, а не по наитию свыше — это обстоятельство летописец раскрыл вполне ясно. Владимир вовсе не был исконно предрасположен к принятию православия, но первоначально даже склонялся к мусульманству — «послушаше сладко» мусульман (83, под 986 г.). В разных верах Владимира как язычника интересовала прежде всего внешняя, физическая сторона: что положено есть и пить, как обращаться с женщинами и в особенности — каково богослужение народов. Недаром языческие же бояре и старцы посоветовали Владимиру: «испытай когождо ихъ службу» (104, под 987 г.); и Владимир послал послов, которые у народов и «съглядавше церковную службу ихъ» (105). Православию было отдано предпочтение именно за красоту церковной службы: «несть бо на земли такого вида ли красоты такоя» (106), в то время как даже «немцы», хотя и многие службы творят, а красоты в них не видно никакой. Богословское же содержание вероисповеданий мало привлекало Владимира, и суть обращенных к нему речей об основах вер языческий князь воспринял крайне элементарно: «приходиша немци, и ти хваляху законъ свой... Се же после же придоша грьци, хуляще вси законы, свой же хваляще и много глаголаша..., суть же хитро сказающе, и чюдно слышати ихъ» и т.д. (104, под 987 г.). Или же выражался с некоторой рифмованной бесшабашностью по поводу сообщенных ему конфессиональных сведений: «Руси есть веселье питье, не можемъ бес того быти» (83, под 986 г.); «что ради отъ жены родися, и на древе распятся, и водою крестися?» (102, под 986 г.); «на ономъ свете в огне горети» (104, под 987 г.). С принятием православия Владимир явно тянул («пожду и еще мало» — 104, под 986 г.), пытаясь получить взамен земные блага (например, породниться с византийскими императорами), и

последним толчком ко крещению Владимиру послужило исцеление от глазной болезни: «Топерво уведехъ Бога истиньнаго» (109, под 988 г.) — выгода очевидная.

Летописец понимал своеобразие крещения Руси Владимиром: крещение произошло по изволенью Божью, а не по нашим делам; перед крещением здесь не апостолы учили, не пророки прорекли; дьявол был побежден не от апостолов, не от мучеников, а языческим невеждой, который после крещения всё-таки вернулся к жизни «по устроенью отьню и дедню» (124, под 996 г.).

Второй причиной, помешавшей сразу признать Владимира святым, вероятно, была его циничная хитрость, которую летописцу, стремившемуся к полноте сведений о князьях, все-таки пришлось показать. В арсенал средств Владимира постоянно входило предательство. Владимир не имел шансов стать киевским князем из-за своей низкородности сравнительно с братьями (матерью Владимира была служанка, ключница княгини Ольги. Оттого Святослав послал Владимира княжить к далёким новгородцам только после отказа более высокородных братьев Владимира и с полупрезрительными словами: «А бы пошелъ кто к вамъ... Вото вы есть» (68, под 970 г.), оттого и гораздо позже Владимира называли сыном рабыни — 74, под 980 г.). Однако Владимиру удалось стать единодержцем Руси после убийства братьев, одного из которых убил он сам вполне целеустремлённо («убью брата своего»), склонив к предательству воеводу брата. Летописец, правда, пригладил эту неприглядную историю: по рассказу летописи, Владимир благородно предупредил брата о войне («пристраивайся противу битъся») и обосновал свою борьбу («не язъ бо почалъ братью бити, но онъ»), и именно предатель-воевода был выставлен инициатором разных коварств, что дало повод летописцу разразиться филиппикой («горьше суть бесовъ таковии») и обвинить воеводу в убийстве («се бо бысть повиненъ крови той»), а Владимира оставить в тени (75, под 980 г.).

Но сразу вслед за этим летописцу пришлось рассказать ещё об одном предательстве Владимира, которому в отчаянный момент хорошо помогли нанятые им варяги, но Владимир их обманул — не дал обещанной платы и отправил в Царьград, тайно предупредив византийского цесаря: «Се идуть к тебе варязи, не мози ихъ держати въ граде..., но расточи я разно, а семо не пущай ни единого». Правда, и в этот раз летописец привёл факты, смягчающие отступничество Владимира: варяги явились непосредственными убийцами брата Владимира, варяги хотели пограбить один из русских городов и ещё «сотворили зло», а Владимир изгнал не всех варягов, но прежде избрал из варягов мужей добрых и разумных и тем раздал города (77, под 980 г.).

Далее летописец рассказал о том, как Владимир снова использовал предателя: при осаде Корсуня один из корсунцев дал знать

Владимиру о слабом месте крепости (подземной водопроводной трубе к городу, которую надо перекрыть) и способствовал падению своего же города. Потом произошло также не всё ладно: Владимир вывез из Корсуня множество ценностей, вплоть до статуй, а разорённый греческий город хитроумно отдал грекам же в качестве выкупа за свою греческую невесту (под 988 г.); предатель же, возвеличенный Владимиром, предал русских в пользу поляков (под 1018 г.).

Неблаговидным поступкам Владимира-язычника летописец нашёл противовес: Владимир у летописца одновременно представал по-христиански мягким, кротким и даже слабым князем. Небывалую кротость и уступчивость Владимир моментами проявлял ещё до крещения: он, как обозначил летописец это состояние князя, «убоявся» своего брата и бежал за море (74, под 977 г.); Владимир униженно просил братнего воеводу: «Поприяй ми..., имети тя хочю во отца место» (75, под 980 г.); затем Владимир хотя и победил волжских болгар, но отказался взять дань и опасливо заключил с ними вечный мир (под 985 г.); своих бояр и старцев Владимир вовсе не свысока спрашивал: «Да что ума придасте?» (104, под 987 г.). После крещения, как следовало из ещё более удивительных деталей летописного повествования, Владимир и вовсе ослаб от христианского смирения: «поча тужити» оттого, что не мог справиться с печенегами (120, под 992 г.), и вообще «не могъ стерпети противу» их, едва спрятался от печенегов, став под мостом и обещая построить церковь за своё спасение (122, под 996 г.); с дружиной Владимир вёл себя исключительно предупредительно устраивал пиры по всем воскресеньям, и для дружины, когда услышал её претензии, специально велел исковать серебряные ложки вместо деревянных; с дружиной князь «думал» о всех государственных делах; «миръ и любы» установились у Владимира с христианскими странами. Но, пояснил летописец, Владимир жил в страхе Божии, боясь греха, не казнил разбойников, отчего умножились разбои. Потом Владимир смиренно слушал советы епископов и старцев и по их советам стал то казнить, то вместо казни брать штрафы-виры с разбойников (под 996 г.). В это время шла беспрестанная война с печенегами, но, сообщил летописец, Владимир не мог помочь своим людям — «не бе лзе Володимеру помочи, не бе бо вой у него» (124, под 997 г.) — люди сами придумывали, как спастись.

Оправдание Владимира в летописи не привело к апофеозу, а закончилось тревожными сообщениями: летописец перечислил умерших — преставились мать, жены, сын, внук Владимира (под 1000—1011 гг.) — и закончил повествование рассказом о смерти самого Владимира. На неблагополучие указывало и заключительное известие летописца о небывалой ссоре отца с сыном — Владимир захотел идти походом «на сына своего» (127, под 1014 г.). Лето-

писец по обыкновению смягчил сообщение: «Но Богъ не вдасть дьяволу радости» (127, под 1015 г.). Однако от этого не исчезала острая дисгармоничность летописного повествования о Владимире — язычнике и христианине.

Летописец по-своему подводил итоги жизни князей,— не по всем их делам в целом, а обычно по одному решающему деянию или обстоятельству в жизни: Рюрика преимущественно характеризовал приход на Русь, Олега — победа у Царьграда, Ольгу — крещение, Игоря — поборы с древлян, Святослава — непослушание матери, Владимира — крещение Руси. Прочее же отбрасывало лишь дополнительные свет или тень на главный поступок героя. Как ни хотелось летописцу, чтобы Владимир-креститель был признан святым, но этот князь оставался слишком неидеальным, и летописец выразил лишь надежду, лишь пожелание Владимиру: «Дажь ти Господь венець с праведными, в пищи райстей веселье и ликъствованье съ Аврамомь и с прочими патриархы» (128, под 1015 г.).

Историософская персонология «Повести временных лет» по содержанию и формам литературного выражения была явлением полнокровным, но глубоко архаическим.